



ГОРЮНОВ

# КЮХЛЯ

ДЕТРОДАТ-НИ ВЪКЪМ 1941

# Юрий Николаевич Тынянов

## Кюхля

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=185302](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=185302)*

*Кюхля: Издательство детской литературы ЦК ВЛКСМ; Москва; 1941*

### Аннотация

«Кюхля» – это роман-биография, но, идя по следам главного героя (Вильгельма Карловича Кюхельбекера), мы как бы входим в портретную галерею самых дорогих нашему сердцу людей – Пушкина, Грибоедова, Дельвига, и каждый портрет – а их очень много – нарисован свободно, тонко и смело. Везде чувствуется взгляд самого Кюхельбекера. Подчас кажется, что он сам рассказывает о себе, и чем скромнее звучит этот голос, тем отчетливее вырисовывается перед нами трагедия декабристов. Быть может, именно в этой скромности, незаметности и заключается сила характера, нарисованного Тыняновым.

Возможно, все было по-другому.

Но когда читаешь Тынянова, хочется верить, что все было именно так.

# Содержание

Виля	4
I	4
II	13
III	17
Бехелькюкериада	24
I	24
II	31
III	36
IV	39
V	43
VI	50
VII	53
VIII	60
Конец ознакомительного фрагмента.	61

# Юрий Тынянов

## Кюхля

### Виля

#### I

Вильгельм кончил с отличием пансион.

Он приехал домой из Верро изрядно вытянувшийся, ходил по парку, читал Шиллера и молчал загадочно. Устинья Яковлевна видела, как, читая стихи, он оборачивался быстро и, когда никого кругом не было, прижимал платок к глазам.

Устинья Яковлевна незаметно для самой себя подкладывала потом ему за обедом кусок получше.

Вильгельм был уже большой, ему шел четырнадцатый год, и Устинья Яковлевна чувствовала, что нужно с ним что-то сделать.

Собрался совет.

Приехал к ней в Павловск молодой кузен Альбрехт, затянутый в гвардейские лосины, прибыла тетка Брейткопф, и был приглашен маленький седой старичок, друг семьи, барон Николаи. Старичок был совсем дряхлый и нюхал флакончик с солью. Кроме того, он был сластена и то и дело гло-

тал из старинной бонбоньерки леденец. Это очень развлекало его, и он с трудом мог сосредоточиться. Впрочем, он вел себя с большим достоинством и только изредка путал имена и события.

– Куда определить Вильгельма? – Устинья Яковлевна с некоторым страхом смотрела на совет.

– Вильгельма? – переспросил старичок очень вежливо. – Это Вильгельма определить? – и понюхал флакончик.

– Да, Вильгельма, – сказала с тоскою Устинья Яковлевна. Все молчали.

– В военную службу, в корпус, – сказал вдруг барон необычайно твердо. – Вильгельма в военную службу.

Альбрехт чуть-чуть сощурился и сказал:

– Но у Вильгельма, кажется, нет расположения к военной службе.

Устинье Яковлевне почудилось, что кузен говорит немного свысока.

– Военная служба для молодых людей – это все, – веско сказал барон, – хотя я сам никогда не был военным... Его надо зачислить в корпус.

Он достал бонбоньерку и засосал леденчик.

В это время Устинька-Маленькая вбежала к Вильгельму. (И мать и дочь носили одинаковые имена. Тетка Брейткопф называла мать Justine, а дочку Устинькой-Маленькой.)

– Виля, – сказала она, бледнея, – иди послушай, там о тебе говорят.

Виля посмотрел на нее рассеянно. Он уже два дня шептался с Сенькой, дворовым мальчишкой, по темным углам. Днем он много писал что-то в тетрадку, был молчалив и таинствен.

– Обо мне?

– Да, – зашептала Устинька, широко раскрыв глаза, – они хотят тебя отдать на войну или в корпус.

Виля вскочил.

– Ты знаешь наверное? – спросил он шепотом.

– Я только что слышала, как барон сказал, что тебя нужно отправить на военную службу в корпус.

– Клянись, – сказал Вильгельм.

– Клянусь, – сказала неуверенно Устинька.

– Хорошо, – сказал Вильгельм, бледный и решительный, – ты можешь идти.

Он опять засел за тетрадку и больше не обращал на Устиньку никакого внимания.

Совет продолжался.

– У него редкие способности, – говорила, волнуясь, Устинья Яковлевна, – он расположен к стихам, и потом, я думаю, что военная служба ему не подойдет.

– Ах, к стихам, – сказал барон. – Да, стихи – это уже другое дело.

Он помолчал и добавил, глядя на тетку Брейткопф:

– Стихи – это литература.

Тетка Брейткопф сказала медленно и отчеканивая каждое

СЛОВО:

– Он должен поступить в Лицею.

– Но ведь это, кажется, во Франции – Лусее,<sup>1</sup> – сказал барон рассеянно.

– Нет, барон, это в России, – с негодованием отрезала тетка Брейткопф, – это в России, в Сарском Селе, полчаса ходьбы отсюда. Это будет благородное заведение. Justine, верно, даже об этом знает: там должны, кажется, воспитываться, – и тетка сделала торжествующий жест в сторону барона, – великие князья.

– Прекрасно, – сказал барон решительно, – он поступает в Лусее.

Устинья Яковлевна подумала:

«Ах, какая прекрасная мысль! Это так близко».

– Хотя, – вспомнила она, – великие князья там не будут воспитываться, это раздумали.

– И тем лучше, – неожиданно сказал барон, – тем лучше, не поступают и не надо. Вильгельм поступает в Лусее.

– Я буду хлопотать у Барклаев, – взглянула Устинья Яковлевна на тетку Брейткопф. (Жена Барклая де Толли была ее кузина.) – Ее величество не нужно слишком часто тревожить. Барклаи мне не откажут.

– Ни в каком случае, – сказал барон, думая о другом, – они вам не смогут отказать.

– А когда ты переговоришь с Барклаем, – добавила тет-

---

<sup>1</sup> Лицей (фр.).

ка, – мы попросим барона отвезти Вильгельма и определить его.

Барон смутился.

– Куда отвезти? – спросил он с недоумением. – Но Лусее ведь не во Франции. Это в Сарском Селе. Зачем отвозить?

– Ах, Бог мой, – сказала тетка нетерпеливо, – но их там везут к министру, графу Алексею Кирилловичу. Барон, вы старый друг, и мы надеемся на вас, вам это удобнее у министра.

– Я сделаю все, решительно все, – сказал барон. – Я сам отвезу его в Лусее.

– Спасибо, дорогой Иоанникий Федорович.

Устинья Яковлевна поднесла платок к глазам.

Барон тоже прослезился и разволновался необычайно.

– Надо его отвезти в Лусее. Пусть его собирают, и я его повезу в Лусее.

Слово Лусее его заворожило.

– Дорогой барон, – сказала тетка, – его надо раньше представить министру. Я сама привезу к вам Вильгельма, и вы поедете с ним.

Барон начинал ей казаться институткой. Тетка Брейткопф была татап Екатеринбургского института.

Барон встал, посмотрел с тоской на тетку Брейткопф и поклонился:

– Я, поверьте, буду ждать вас с нетерпением.

– Дорогой барон, вы сегодня ночуете у нас, – сказала Усти-

нья Яковлевна, и голос ее задрожал.

Тетка приоткрыла дверь и позвала:

– Вильгельм!

Вильгельм вошел, смотря на всех странным взглядом.

– Будь внимателен, Вильгельм, – торжественно сказала тетка Брейткопф. – Мы решили сейчас, что ты поступишь в Лицею. Эта Лицея открывается совсем недалеко – в Сарском Селе. Там тебя будут учить всему – и стихам тоже. Там у тебя будут товарищи.

Вильгельм стоял как вкопанный.

– Барон Иоанникий Федорович был так добр, что согласился сам отвезти тебя к министру.

Барон перестал сосать леденец и с интересом посмотрел на тетку.

Тогда Вильгельм, не говоря ни слова, двинулся вон из комнаты.

– Что это с ним? – изумилась тетка.

– Он расстроен, бедный мальчик, – вздохнула Устинья Яковлевна.

Вильгельм не был расстроен. Просто на эту ночь у него с Сенькой был назначен побег в город Верро. В городе Верро ждала его Минхен, дочка его почтенного тамошнего наставника. Ей было всего двенадцать лет. Вильгельм перед отъездом обещал, что похитит ее из отчего дома и тайно с ней обвенчается. Сенька будет его сопровождать, а потом, когда они поженятся, все втроем будут жить в какой-нибудь хижинке.

не, вроде швейцарского домика, собирать каждый день цветы и землянику и будут счастливы.

Ночью Сенька тихо стучит в Вилино окно.

Все готово.

Вильгельм берет свою тетрадку, кладет в карман два сухаря, одевается. Окно не затворено с вечера – нарочно. Он осторожно обходит кровать маленького Мишки, брата, и лезет в окно.

В саду оказывается жутко, хотя ночь светлая.

Они тихо идут за угол дома – там они перелезут через забор. Перед тем как уйти из отчего дома, Вильгельм становится на колени и целует землю. Он читал об этом где-то у Карамзина. Ему становится горько, и он проглатывает слезу. Сенька терпеливо ждет.

Они проходят еще два шага и наталкиваются на раскрытое окно.

У окна сидит барон в шлафроке и ночном колпаке и равнодушно смотрит на Вильгельма.

Вильгельм застывает на месте. Сенька исчезает за деревом.

– Добрый вечер. *Von soir, Guillaume*, – говорит барон снисходительно, без особого интереса.

– Добрый вечер, – отвечает Вильгельм, задыхаясь.

– Очень хорошая погода – совсем Венеция, – говорит барон, вздыхая. Он нюхает флакончик. – Такая погода в мае бывает, говорят, только в високосный год.

Он смотрит на Вильгельма и добавляет задумчиво:

– Хотя теперь не високосный год. Как твои успехи? – спрашивает он потом с любопытством.

– Благодарю вас, – отвечает Вильгельм, – из немецкого хорошо, из французского тоже.

– Неужели? – спрашивает изумленно барон.

– Из латинского тоже, – говорит Вильгельм, теряя почву под ногами.

– А, это другое дело, – барон успокаивается.

Рядом раскрывается окно и показывается удивленная Устинья Яковлевна в ночном чепце.

– Добрый вечер, Устинья Яковлевна, – вежливо говорит барон, – какая чудесная погода. У вас здесь Firenze la Bella.<sup>2</sup> Я прямо дышу этим воздухом.

– Да, – говорит, оторопев, Устинья Яковлевна, – но как здесь Вильгельм? Что он делает здесь ночью в саду?

– Вильгельм? – переспрашивает рассеянно барон. – Ах, Вильгельм, – спохватывается он. – Да, но Вильгельм тоже дышит воздухом. Он гуляет.

– Вильгельм, – говорит Устинья Яковлевна с широко раскрытыми глазами, – поди сюда.

Вильгельм, замирая, подходит.

– Что ты здесь делаешь, мой мальчик?

Она испуганно смотрит на сына, протягивает сухонькую руку и гладит его жесткие волосы.

---

<sup>2</sup> Прекрасная Флоренция (ит.).

– Иди ко мне, – говорит Устинья Яковлевна, глядя на него с тревогой. – Влезай ко мне в окно.

Вильгельм, понутив голову, лезет в окно к матери. Слезы на глазах у Устиньи Яковлевны. Видя эти слезы, Вильгельм вдруг всхлипывает и рассказывает все, все. Устинья Яковлевна смеется и плачет и гладит сына по голове.

Барон еще долго сидит у окна и нюхает флакончик с солями. Он вспоминает одну итальянскую артистку, которая умерла лет сорок назад, и чуть ли не воображает, что находится в Firenze la Bella.

## II

Барон надевает старомодный мундир с орденами, натягивает перчатки, опираясь на палку, берет под руку Вильгельма, и они едут к графу Алексею Кирилловичу Разумовскому, министру.

Они входят в большую залу с колоннами, увешанную большими портретами. В зале человек двенадцать взрослых, и у каждого по мальчику. Вильгельм проходит мимо крошечного мальчика, который стоит возле унылого человека в чиновничьем мундире. Барон опускается в кресла. Вильгельм начинает оглядываться. Рядом с ним стоит черненький, вертлявый, как обезьяна, мальчик. Его держит за руку человек в черном фраке, с орденом в петличке.

– Мишель, будьте же спокойны, – картавит он по-французски, когда мальчик начинает делать Вильгельму гримасы.

Это француз-гувернер Московского университетского пансиона пришел определять Мишу Яковлева.

Неподалеку от них стоит маленький старичок в парадной форме адмирала. Брови его насуплены, он, как и барон, опирается на палочку. Он сердит и ни на кого не смотрит. Возле него стоит мальчик, румяный, толстый, с светлыми глазами и русыми волосами.

Завидев барона, адмирал проясняется.

– Иоанникий Федорович? – говорит он хриплым баском.

Барон перестает сосать леденец и смотрит на адмирала. Потом он подходит к нему, жмет руку.

– Иван Петрович, cher amiral.<sup>3</sup>

– Петр Иванович, – ворчит адмирал, – Петр Иванович. Что ты, батюшка, имена стал путать.

Но барон, не смущаясь, пускается в разговор. Это его старый приятель – у барона очень много старых приятелей – адмирал Пушин. Адмирал недоволен. Он ждет министра уже с полчаса. Проходят еще пять минут. Вильгельм смотрит на румяного мальчика, а тот с некоторым удивлением рассматривает Вильгельма.

– Ваня, – говорит адмирал, – походите по залу.

Мальчики неловко идут по залу, пристально смотрят друг на друга. Когда они проходят мимо Миши Яковлева, Миша быстро показывает им язык. Ваня говорит Вильгельму:

– Обезьяна.

Вильгельм отвечает Ване:

– Он совсем как паяс.

Адмирал начинает сердиться. Он стучит палкой. Одновременно стучит палкой и барон. Адмирал подзывает дежурного чиновника и говорит ему:

– Его превосходительство намерен сегодня нас принять?

– Простите, ваше превосходительство, – отвечает чиновник, – его превосходительство кончает свой туалет.

– Но мне нужен Алексей Кириллович, – говорит выходя

---

<sup>3</sup> Дорогой адмирал (фр.).

из себя адмирал, – а не туалет его.

– Немедля доложу, – чиновник с полупоклоном скользит в соседний зал.

Через минуту всех зовут во внутренние комнаты. Прием начинается.

К адмиралу подходит щеголь в черном фраке и необыкновенном жабо, крепко надушенный и затянутый. Глазки у него живые, чуточку косые, нос птичий, и, несмотря на то, что он стянут в рюмочку, у щеголя намечается брюшко.

– Петр Иванович, – говорит он необыкновенно приятным голосом и начинает сыпать в адмирала французскими фразами.

Адмирал терпеть не может ни щеголей, ни французятины и, глядя на щеголя, думает: «Эх, шалбер» (шалберами он зовет всех щеголей); но почет и уважение адмирал любит.

– Вы кого же, Василий Львович, привезли? – спрашивает он благосклонно.

– Племянника, Сергей Львовичева сына. Саша, – зовет он.

Саша подходит. Он курчавый, быстроглазый мальчик, смотрит исподлобья и ходит увальнем. Увидя Вильгельма, он смеется глазами и начинает за ним тихо наблюдать.

В это время из кабинета министра выходит высокий чиновник; он держит в руках лист и выкликает фамилии:

– Барон Дельвиг, Антон Антонович!

Бледный и пухлый мальчик с сонным лицом идет неохотно и неуверенно.

– Комовский!

Крохотный мальчик семенит аккуратно маленькими шажками.

– Яковлев!

Маленькая обезьяна почти бежит на вызов.

Чиновник вызывает Пущина, Пушкина, Вильгельма.

У министра жутковато. За столом, покрытым синей скатертью с золотой бахромой, сидят важные люди. Сам министр – с лентой через плечо, толстый, курчавый, с бледным лицом и кислой улыбкой, завитой и напوماженный. Он лениво шутит с длинным человеком в форменном мундире, похожим не то на семинариста, не то на англичанина. Длинный экзаменует. Это Малиновский, только что назначенный директор Лицея. Он задает вопросы, как бы отстукивая молоточком, и ждет ответа, склонив голову набок. Экзамен кончается поздно. Все разъезжаются. Яковлев на прощанье делает такую гримасу, что Пушкин скалит белые зубы и тихонько толкает Пущина в бок.

### III

19 октября Вильгельм долго обряжался в парадную форму. Он натянул белые панталоны, надел синий мундирчик, красный воротник которого был слишком высок, повязал белый галстук, оправил белый жилет, натянул ботфорты и с удовольствием посмотрел на себя в зеркало. В зеркале стоял худой и длинный мальчик с вылупленными глазами, ни дать ни взять похожий на попугая.

Когда в лицейском коридоре все стали строиться, Пушкин посмотрел на Вильгельма и засмеялся глазами. Вильгельм покраснел и замотал головой, как будто воротник ему мешал. Их ввели в зал. Инспектор и гувернеры, суеясь, расставили всех в три ряда и сами стали перед ними, как майоры на разводе.

Между колонн в лицейском зале стоял бесконечный стол, покрытый до пола красным сукном с золотой бахромой. Вильгельм зажмурил глаза – столько было золота на мундирах.

В креслах сидел бледный, пухлый, завитой министр и разговаривал с незнакомым старцем. Он осмотрел тусклым взглядом всех, потом сказал что-то на ухо бледному директору, отчего тот побледнел еще больше, и вышел.

Тишина.

Открылась дверь, и вошел царь. Голубые глаза его улыба-

лись на все стороны, щегольской сюртук сидел в обтяжку на пухлых боках; он сделал белой рукой жест министру и указал на место рядом с собой. Нескладный и длинный, шел рядом с ним великий князь Константин. Нижняя губа его отвисла, он имел заспанный вид, горбился, мундир сидел на нем мешком. Рядом с царем, с другой стороны, двигалась белая кружевная пена – императрица Елизавета, и шумел на всю залу ломкий шелк – шла старая императрица.

Уселись. Со свертком в руке, дрожа от волнения и еле передвигая длинными ногами, вышел директор и, запинаясь, глухим голосом, стал говорить про верноподданнические чувства, которые надлежало куда-то внедрить, развить, утвердить. Сверток плясал в его руках. Он как замороженный смотрел в голубые глаза царя, который, подняв брови и покусывая губы, его не слушал. Адмирал Пущин стал громко кашлять, Василий Львович чихнул на весь зал и покраснел от смущения. Только барон Николаи смотрел на директора с одобрением и нюхал свой флакончик.

«Его величество», – слышалось среди бормотания, потом опять: «его величество», и опять бормотание. Директор сел, адмирал отдышался.

За директором выступил молодой человек, прямой, бледный. Он не смотрел, как директор, на царя, он смотрел на мальчиков. Это был Куницын, профессор нравственных наук.

При первых звуках его голоса царь насторожился.

– Под наукой общежития, – говорил Куницын, как бы по-рицая кого-то, – разумеется не искусство блистать наружными качествами, которые нередко бывают благовидною личиною грубого невежества, но истинное образование ума и сердца.

Протянув руку к мальчикам, он говорил почти мрачно:

– Настанет время, когда отечество поручит вам священный долг хранить общественное благо.

И ничего о царе. Он как бы забыл о его присутствии. Но нет, вот он вполоборота поворачивается к нему:

– Никогда не отвергает государственный человек народного вопля, ибо глас народа есть глас Божий.

И опять он смотрит только на мальчиков, и голос его опять укоризненный, а движения руки быстрые.

– Какая польза гордиться титлами, приобретенными не по достоянию, когда во взорах каждого видны укоризна или презрение, хула или нарекание, ненависть или проклятие? Для того ли должно искать отличий, чтобы, достигнув оных, страшиться бесславия?

Вильгельм не отрываясь смотрит на Куницына. Неподвижное лицо Куницына бледно.

Царь слушает прилежно. Он даже приложил белую ладонь к уху: глуховат. Его щеки слегка порозовели, глаза следят за оратором. Министр с кислым, значительным выражением смотрит на Куницына – и искоса на царя. Он хочет узнать, какое впечатление странная речь производит на его величе-

ство. Но царские глаза не выражают ничего, лоб нахмурен, а губы улыбаются.

И вдруг Куницын как бы невольно взглянул в сторону министра. Министр прислушивается к напряженному голосу профессора:

– Представьте на государственном месте человека без познаний, которому известны государственные должности только по имени; вы увидите, как горестно его положение. Не зная первоначальных причин благоденствия и упадка государств, он не в состоянии дать постоянного направления делам общественным, при каждом шаге заблуждается, при каждом действии переменяет свои силы. Исправляя одну погрешность, он делает другую; искореняя одно зло, полагает основание другому; вместо существенных выгод стремится за посторонними.

Бледные, отвисшие щеки министра вспыхивают. Он закусывает губы и уже больше не смотрит на оратора. Барон Николай в публике усиленно нюхает флакончик. Василий Львович сидит, приоткрыв рот, отчего лицо его необыкновенно глупеет.

Голос Куницына звучен; и он больше не смотрит на мальчиков, он смотрит в пустое пространство, чтобы не смотреть на министра и царя:

– Утомленный тщетными трудами, терзаемый совестью, гонимый всеобщим негодованием, такой государственный человек предается на волю случая или делается рабом чужих

предрассудков. Подобно безрассудному пловцу, он мчится на скалы, окруженные печальными остатками многократных кораблекрушений. В то время, когда бы надлежало пользоваться вихрями грозных туч, он предается их стремлению и, усмотрев разверзающуюся бездну, ищет пристанища там, где море не имеет пределов.

Спокойный, прямой, как струна, молодой профессор садится. Щеки его горят. Министр смотрит косвенным взглядом на царя.

Вдруг рыжеватая голова склоняется с одобрением: царь вспомнил, что он первый либерал страны.

Он небрежно склоняется к министру и говорит громким шепотом:

– Представьте к отличию.

Министр, выражая на своем лице радость, склоняет голову.

В руках директора опять список, и опять список пляшет в этих руках. Их вызывают.

– Кюхельбекер Вильгельм.

Вилли, подавшись корпусом вперед, путаясь ногами, подходит к страшному столу. Он забывает церемониал и кланяется так нелепо, что царь подносит к блеклым глазам лорнет и с секунду смотрит на него. Только с секунду. Рыжеватая голова терпеливо кивает мальчику.

Барон говорит адмиралу:

– Это Вильгельм. Я его определил в Лусее.

Потом их ведут в столовую. Старшая императрица пробует суп.

Она подходит к Вильгельму сзади, опирается на его плечи и спрашивает благосклонно:

– Карош зуп?

Вильгельм от неожиданности давится пирожком, пробует встать и, к ужасу своему, отвечает тонким голосом:

– *Oui, monsieur.*<sup>4</sup>

Пуцин, который сидит рядом с ним, глотает горячий суп и делает отчаянное лицо. Тогда Пушкин втягивает голову в плечи, и ложка застывает у него в воздухе.

Великий князь Константин, который стоит у окна с сестрой и занимается тем, что щиплет ее и щекочет, слышит все издали и начинает хохотать. Смех у него лающий и деревянный, как будто кто-то щелкает на счетах.

Императрица вдруг обижается и величественно проплывает мимо лицеистов. Тогда Константин подходит к столу и с интересом, оттянув книзу свою отвисшую губу, смотрит на Вильгельма; Вильгельм ему положительно нравится.

А Вильгельм чувствует, что сейчас расплачется. Он крепится. Его лицо с выкаченными глазами багровеет, а нижняя губа дрожит.

Все кончилось, однако, благополучно. Его высочество уходит к окну – щекотать ее высочество.

19 октября 1811 года кончается.

---

<sup>4</sup> Да, сударь (фр.).

Вильгельм – лицеист.

# Бехелькюкериада

## I

«– Вы знаете, что такое *Бехелькюкериада*?

*Бехелькюкериада* есть длинная полоса земли, страна, производящая великий торг мерзейшими стихами; у нее есть провинция Глухое Ухо, и на днях она учинила большую баталию с соседнею державою *Осло-Доясомев*; последняя монархия, желая унижить первую, напала с великим криком на провинцию Бехелькюкериады, называемую Глухое Ухо, но зато сия последняя держава отомстила ужаснейшим образом...»

Вильгельм не читал дальше. Он знал, что драка его с Мясовым даром не пройдет, что «Лицейский мудрец» распишет ее, что опять целый день, визжа от радости, вырывая друг у друга листки, будут читать Бехелькюкериаду.

Лисичка-Комовский, маленький, аккуратный фискал, который жаловался Кюхле на товарищей, товарищам на Кюхлю и обо всем конфиденциально вечерком доносил гувернеру, посмотрел на него с жадным участием.

– Илличевский сказал, – зашептал он, – что еще и не то будет, ей-богу, они собираются на тебя такое написать...

Вильгельм не дослушал. Он побежал к себе наверх и за-

перся.

Он сел за стол и закрыл лицо руками.

В Лицее его травили. Его глухота, вспыльчивость, странные манеры, заикание, вся его фигура, длинная и изогнутая, вызывали неудержимый смех. Но эту неделю его донимали как-то особенно безжалостно. Эпиграмма за эпиграммой, карикатура за карикатурой. «Глист», «Кюхля», «Гезель»!

Он вскочил, длинный, худой, сделал нелепый жест и вдруг успокоился.

У него оставались стихи, сочинительство. Ему не нужно людей. Он подумал об этом и вдруг почувствовал, что друг ему очень нужен. Вздохнув, он взял свою балладу об Альманзоре и Зульме, которую вот уже две недели писал, перечеркивал, переписывал и начинал снова. Он задумался. Показать разве Пушкину? – Нет, Француз непременно напишет эпиграмму, довольно он уже на него написал эпиграмм.

Странное дело, Кюхля не мог как следует, до конца рассердиться на Пушкина. Что бы Француз ни сделал, Кюхля ему все прощал. Сердился, бесновался, но любил. Когда Француз останавливался вдруг в углу залы и глаза его загорались, а толстые губы надувались и он мрачно смотрел в одну точку, – Вильгельм робко и с нежностью его обходил: он знал, что Француз сочиняет.

Его тянуло к нему.

Но Француз быстро на него скидывал коричневые бегающие глаза и вдруг с хохотом начинал беготню и возню; са-

мым важным для его самолюбия было вовсе не то, что он писал хорошо стихи, а то, что он бегал быстрее всех и ловчее всех перепрыгивал через стулья. Стихи Пушкина в Лицее любили за то же, за что и стихи Илличевского, – за гладкость. А Кюхле в них нравилось совсем другое. Кюхля говорил о стихах Илличевского: «Может быть, это хорошо, но это не стихи».

– А что такое стихи? – задумчиво спрашивал у него Дельвиг.

– У тебя, брат, небось лучше, – говорил ему, подмигивая, Пушкин.

Кюхля знал, что у него хуже, но писать, как Илличевский, не хотел. Пусть хуже – все равно, и он писал свои баллады и народные песни. Стихи его звали в Лицее клопштокскими. «Клопшток» – что-то толстое, что-то дубоватое, какой-то неуклюжий ком. Единственный человек в Лицее, который понимал Кюхлю, был, в сущности, Дельвиг. Этот ленивый, полусонный мальчик слушал по часам Кюхлю, когда тот диким голосом читал Шиллера. Тогда за очками у Дельвига пропадала та усмешечка, которой как огня боялся Кюхля.

Вильгельм принялся за балладу. В дверь постучались. Это был опять Комовский. В руках у него был все тот же номер «Лицейского мудреца». Вздыхая, но жадно смотря на Кюхлю – для него втайне было большим удовольствием видеть, как Кюхля свирепеет, – Лисичка сказал самым жалостным

ГОЛОСОМ:

– Вильгельм, ты всего не прочел, там еще есть.

Вильгельм развернул журнал: ту самую балладу, над которой он в полной тайне ото всех сидел уже вторую неделю, переписали почти целиком, а рядом бисерным почерком была написана на каждое слово ужасная критика!

Кюхля вскочил, расвирепев.

– Кто украл у меня со стола балладу? – сказал он, задыхаясь. – Кто посмел красть у меня со стола балладу?

О балладе знали только Комовский да Дельвиг.

Лисичка съежился, но с удовольствием посмотрел на Кюхлю.

– Кажется, Дельвиг, – сказал он, вздыхая.

– Дельвиг? – Кюхля выкатил глаза.

Это было самым гнусным предательством в мире – пусть бы это сделал Яковлев, кто угодно, – но Дельвиг!

Кюхля, не смотря на Комовского и не слушая его, побежал по коридору.

Он влетел в комнату Дельвига. Дельвиг лежал на кровати и смотрел в потолок. Так он пролеживал целыми днями – в Лицее сложились легенды о его лени.

– Виля?

– Мне с тобою нужно поговорить, – задыхаясь, проговорил Кюхля.

– Что с тобой? – спокойно спросил Дельвиг, – ты объелся, Вильгельм, или новую песню написал?

– Ты еще можешь так со мной говорить? – сказал Кюхля и шагнул к нему.

– А почему бы и нет? – Дельвиг зевнул. – Послушай, – сказал он, потягиваясь, – знаешь что, не ходи сегодня к директору в гости – Пушкин сегодня зовет гулять.

Он посмотрел на Вильгельма и вдруг удивился:

– Да что с тобой, Виля, ты болен, у тебя живот болит?

Вильгельм дрожал.

– Ты бесчестный человек, ты подлый человек, – сказал он, – я тебе больше не друг. Если бы ты не был Дельвиг, я бы тебя избил. И я тебя еще изобью.

– Ничего не понимаю, – сказал Дельвиг, остолбенев.

– Ты притворялся мне другом, – завопил Вильгельм, – чтобы выкрасть мою балладу и надругаться надо мной. Это подлость интригана.

– Ты сошел с ума, – спокойно сказал Дельвиг и поднялся наконец с кровати. – Я одно понимаю, что ты сошел с ума. Забавно!

Когда что-нибудь его сильно задевало или ему становилось грустно, он всегда говорил: «забавно».

В дверь без стука вскочил Пушкин, волоча за собой Комовского.

Он был весел и сердит. Комовский отбояривался от него руками и ногами.

– Фискал опять подслушивает у дверей, – объявил он и дал подзатыльник Комовскому. – Если ты, Лиса, пойдешь об

этом докладывать гувернеру, – обернулся он к нему, – он тебе, пожалуй, лишнюю порцию за обедом даст.

Увидев Вильгельма, стоящего со сжатыми кулаками, Пушкин подошел к нему и боком толкнул его. Вильгельм зарычал...

– Ого, – сказал Пушкин и захохотал.

Дельвиг вдруг загородил дверь.

– А ну, Лиса, иди сюда, – сказал он. – Кто это Вильгельму сказал, что я его балладу украл?

Глазки у Комовского забегали.

Пушкин насторожился.

– Понимаешь, – сказал ему Дельвиг, и голос его задрожал, – этот сумасшедший говорит, что я его балладу для «Мудреца» украл, пользуясь дружбой. Забавно!

Пушкин принял серьезный вид.

– Сейчас учиним суд, – сказал он важно, – тащу сюда типографщика. Лису арестовать.

Типографщик был Данзас, который переписывал журнал. Пушкин побежал и через минуту приволок с собой дюжего Данзаса.

Вильгельм стоял, ничего не понимая.

– Слушай, Обезьяна с тигром, – сказал Комовский Пушкину заискивающе, – мне нужно выйти, я сейчас приду.

Пушкина звали в Лицее и «Француз», и «Обезьяна с тигром». Второе произвище было почетнее. Лиса вилял.

– Нет. Сейчас выясним дело. Данзас, говори.

Данзас, смотря прямо на всех, сказал, что три дня тому назад Лиса передал ему балладу Кюхли.

Комовский сжался в комочек.

Кюхля стоял, сбитый с толку.

На Комовского он забыл рассердиться. Тот, сжавшись, ускользнул из комнаты.

Тогда Пушкин, взяв за талию Кюхлю и Дельвига и толкнув их друг на друга, сказал повелительно:

– Мир.

## II

Ах, этот мир был недолог. Этот день был несчастным днем для Кюхли.

Перед обедом Яковлев паясничал. Яковлев был самый любимый паяс в Лицее. Их было несколько, живых и вертлявых мальчиков, которые шутили, гримасничали и стали под конец лицейскими шутами. Но Миша Яковлев сделал шутовство тонкой и высокой профессией. Это был «паяс 200 номеров»; он передразнивал и представлял в лицах двести человек. Это была его гордость, это было его место в Лицее.

Черненький, живой и верткий, с лукавой мордочкой, он преображался у всех на глазах, когда давал «представление», становился то выше, то ниже, то толще, то тоньше, и, раскрыв рты, лицеисты видели перед собою то Куницына, то лицейского дьячка, то Дельвига. Он так подражал роговой музыке, что раз гувернер произвел специальное расследование, откуда у лицеистов завелись рожки. Так же подражал он флейте, а раз сыграл на губах добрую половину Фильдова ноктюрна – он был хороший музыкант. Впрочем, он натуральнейшим образом хрюкал также поросенком и изображал сладострастного петуха.

Сегодня был его бенефис. Паяс приготовил какой-то новый номер.

Все сбились в кучу, и Яковлев начал. Чтобы разойтись,

он хотел, однако, исполнить несколько старых номеров. Он остановился и посмотрел на окружающих. Он ждал заказов.

– Есаков.

Есаков был тихий мальчик с румянцем во всю щеку, застенчивый, с особой походкой: он ходил вразвалочку, поматывая головой. Он очень любил Кюхлю и, после Дельвига, был первым его другом. Яковлев сжался, крикнул, стал меньше ростом, как-то особенно покорно начал поматывать головой и вдруг прошелся той особой застенчивой походкой, которая была у Есакова. Есаков улыбнулся.

– Броглио.

Это был быстрый номер. Яковлев скосил правый глаз, прищурил его, откинул назад голову и стал вертеть пальцами у борта мундира: он как бы искал ордена. (Броглио привезли недавно из Италии какой-то орден, он был итальянским графом.)

– Будри.

Яковлев выпятил вперед живот, щеки его надулись и обвисли, он нахмурил лоб, глаза полузакрыв и начал тихонько завывать, потряхивая головой. Давид Иваныч де Будри, учитель французского языка, любитель декламации, стоял перед лицеистами.

– Попа, попа!

– Дьячка с трелями!

Яковлев вытянул шею, глаза его стали унылыми и при этом быстро и воровато забегали по сторонам, щеки втяну-

лись, и дьячок, очень похожий на лицейского, начал выводить «трели»:

– Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

– Обезьяну.

Для Яковлева этот номер был легче всего. Он и сам был похож на обезьяну. Он присел на пол, раскорячив ноги, и начал быстро, не по-человечьи, почесывать под мышками. Глазки Яковлева забегали по всем сторонам с тем бессмысленным и спокойным выражением, которое он уловил у обезьяны странствующего итальянца, как-то заглянувшего в Лицей.

– Теперь новый.

– Новый, – сказал Яковлев, – это Минхен и Кюхля.

Вильгельм растерялся. Это была тайна, которую он доверил только Дельвигу: обручение с Минхен.

Он смотрел на Яковлева.

Яковлев стал выше ростом. Шея его вытянулась, рот открылся, глаза выпучились. Вихляя и вертя головою, прошел два шага и, брыкнув ногой, остановился. Верная и злая копия Кюхли.

Лицеисты покатались со смеху. Пушкин хохотал отрывисто, лающим смехом. Дельвиг, забыв все на свете, стонал тоненьким голосом.

Яковлев присел теперь таким образом, как будто под ним была скамеечка. Он сделал губки бантиком, поднял глазки

к небу, головку опустил набок и начал перебирать пальцами воображаемую косу, свесившуюся на грудь. Потом «Кюхля» тянет шею, как жираф, вытягивает губы и, свирепо вращая глазами, чмокает воздух, после чего, неожиданно брыкнув, отлетает в сторону, точно обжегшись. «Минхен» вытягивает губки самым жалостным образом, тоже чмокает воздух и, дернув головкой, закрывает личико руками.

Рев стоял в дортуаре.

Вильгельм, побагровев, двинулся было к Яковлеву, но этого уже ждали. Его быстро подхватили за руки, впихнули в его келью, приперли дверь.

Он завизжал и бросился на нее всем телом, он колотил в нее кулаками, кричал: «Подлецы!» – и наконец опустился на пол.

За дверью два голоса пели:

Ах, тошно мне  
На чужой скамье!  
Все не мило, все постыло,  
Кюхельбекера там нет!  
Кюхельбекера там нет —  
Не глядел бы я на свет.  
Все скамейки, все линейки  
О потере мне твердят.

И тотчас дружный хор отвечал:

Ах, не скучно мне  
На чужой скамье!  
И все мило, не постыло,  
Кюхельбекера здесь нет!  
Кюхельбекера здесь нет —  
Я гляжу на белый свет.  
Все скамейки, все линейки  
Мне о радости твердят.

Вильгельм не плакал. Он знал теперь, что ему делать.

### III

Звонок к обеду.

Все бегут во второй этаж – в столовую.

Вильгельм ждет.

Он выглядывает из дверей и прислушивается. Снизу доносится смутный гул – все усаживаются.

Его отсутствия пока никто не заметил. У него есть две-три минуты времени.

Он сбегает вниз по лестнице, минует столовую и мчится через секунду по саду.

Из окна столовой его заметил гувернер. Перед Вильгельмом мелькает на секунду его изумленное лицо. Времени терять нельзя.

Он бежит что есть сил. Мелькает «Грибок» – беседка, в которой он только вчера писал стихи.

Вот наконец – и Вильгельм с размаху бросается в пруд.

Лицо его облепляют слизь и тина, а холодная стоячая вода доходит до шеи. Пруд неглубок и еще обмелел за лето. В саду – крики, топот, возня. Вильгельм погружается в воду.

Солнце и зелень смыкаются над его головой. Он видит какие-то радужные круги – вдруг взмах весла у самой его головы и голоса, крики.

Последнее, что он видит, – смыкающиеся круги радуги, последнее, что слышит, – отчаянный чей-то крик, кажется,

гувернера:

– Здесь, здесь! Давайте багор!

Вильгельм открывает глаза. Он лежит у пруда на траве. Ему становится холодно.

Над ним наклонилось старое лицо в очках – Вильгельм узнает его, это доктор Пешель. Доктор подносит к его лицу какой-то сильно пахнувший спирт. Вильгельм дрожит и делает усилие что-либо сказать.

– Молчите, – говорит доктор строго.

Но Вильгельм уже сел. Он видит испуганные лица товарищей – рядом стоят Куницын и француз Будри. Куницын о чем-то вполголоса говорит Будри, тот неодобрительно кивает головою. Энгельгардт, директор, растерянно сложил руки на животе и смотрит на Кюхлю бессмысленным взглядом.

Кюхлю ведут в Лицей и укладывают в больницу.

Ночью в палату к нему прокрадываются Пушкин, Пуцин, Есаков.

Есаков, застенчивый, румяный, улыбается, как всегда. Пушкин сумрачен и тревожен.

– Вильгельм, что ты начудил? – спрашивает его шепотом Есаков. – Нельзя так, братец.

Вильгельм молчит.

– Ты пойми, – говорит рассудительно Пуцин, – если из-за каждой шутки Яковлева топиться, так в пруду не хватит места. Ты же не Бедная Лиза.

Вильгельм молчит.

Пушкин неожиданно берет Вильгельма за руку и неуверенно ее пожимает.

Тогда Вильгельм срывается с постели, обнимает его и бормочет:

– Я не мог больше, Пушкин, я не мог больше.

– Ну, вот и отлично, – говорит спокойно и уверенно Есаков, – и не надо больше. Они ведь тебя, братец, в сущности, любят. А что смеются – так пускай смеются.

## IV

А впрочем, жизнь в Лицее шла обычным порядком.

Обиды забывались. Старше становились лицеисты. После истории с прудом один Илличевский издевался над Кюхлей по-прежнему. У Кюхли даже нашлись почитатели: Моря Корф, аккуратный, миловидный немец, утверждал, что хоть стихи у Кюхли странные, но не без достоинств и, пожалуй, не хуже Дельвиговых.

Учился Кюхля хорошо, у него появилась новая черта – честолюбие. Засыпая, он воображал себя великим человеком. Он говорил речи какой-то толпе, которая выла от восторга, а иногда он становился великим поэтом – Державин целовал его голову и говорил, обращаясь не то к той же толпе, не то к лицеистам, что ему, Вильгельму Кюхельбекеру, передает он свою лиру.

У Кюхли была упорная голова: если он в чем-нибудь был уверен, никто не мог заставить его сойти с позиции. Математик Карцов записал о нем в табель об успехах, что он «основателен, но ошибается по самодовольствию». Хорошо его понимали трое: учитель французского языка Давид Иванович де Будри, профессор нравственных наук Куницын и директор Энгельгардт.

Куницын видел, как бледнел Кюхля на его уроках, когда он рассказывал о братьях Гракхах и о борьбе Фразибула за

свободу. У этого мальчика, несмотря на его необузданность, была ясная голова, а его упорство даже нравилось Куницыну.

Директор Энгельгардт, Егор Антонович, был аккуратный человек; когда он говорил о «нашем милом Лицее», глаза его принимали едва ли не набожное выражение. Он все мог понять и объяснить и, когда встречал какое-нибудь неорганизованное явление, долго над ним бился, чтобы «определить» его; но если ему наконец удавалось это явление определить и человек получал свой ярлык – Энгельгардт успокаивался.

Все было в порядке, да и в каком еще порядке: весь мир был хорошо устроен. Сплошное добродушие было в основе всего мира.

Пушкин Энгельгардта ненавидел, сам не зная почему. Он разговаривал с ним, опустив глаза. Он грубо хохотал, когда у Энгельгардта случались неприятности. И Энгельгардт терялся перед этим неорганизованным явлением. Он в глубине души тоже ненавидел и – что было хуже всего – боялся Пушкина. Сердце этого молодого человека было пусто, ни одной искры истинного добродушия не было в нем, одна беспорядочная ветреность да какие-то звуки в голове, и при этом нерадивость, легкомыслие и – увы – безнравственность! За этого воспитанника Егор Антонович не отвечал ни в коем случае: он никак не мог подыскать для него ярлыка.

Но Кюхель, неорганизованный Кюхель (Егор Антонович звал Вильгельма «Кюхель», а не «Кюхля»: это было полицейски и все же немножко не так, как у лицеистов, у маль-

чиков), Кюхель, также подверженный крайностям и легкомыслию, – Егор Антонович понимал его. Да, да, Егор Антонович понимал этого безумного молодого человека из хорошей немецкой фамилии. Это был донкихот, крайне необузданный, но настоящая добродушная голова. Егор Антонович знал твердо, что Кюхель – неорганизованная голова, которую в жизни ожидают большие неприятности, – но притом добродушная голова. И этого было для него достаточно: добродушная, лежавшего в основе всего мира, Кюхель не портил.

Пушкина Энгельгардт боялся, потому что не мог понять, но Кюхельбекера он любил, потому что понимал его, – хотя оба они были неорганизованные существа.

Давид Иванович Будри был коротенький, толстенный старичок в засаленном, слегка напудренном парике, с черными острыми глазами, строгий и даже придиричивый. Он бодро и быстро бросал слова, шутил язвительно – и весь класс хохотал от его шуток. Но самым его большим наслаждением была декламация. Когда, полузакрыв глаза, он декламировал «Сида», протяжно завывая, – лицеисты замирали на своих местах, что не мешало им после хохотать, когда Яковлев его передразнивал.

Кюхля относился к нему с особым чувством; он не любил его, но смотрел на Будри с непонятным удивлением, почти ужасом: Куницын сказал ему под большим секретом, что Давид Иванович родной брат Марата, того самого – его только заставили переменить фамилию. Маленький старичок ни-

чем не напоминал того страшного, но чем-то для Кюхли обольстительного Марата, портрет которого он видел в какой-то книжке.

Однажды он решился и подошел тихонько к Давиду Ивановичу.

– Давид Иванович, – сказал он тихо, – расскажите мне, прошу вас, о вашем брате.

Де Будри живо обернулся и посмотрел на Кюхлю пронзительно.

– Мой брат, – спокойно сказал он, – был великий человек, он был, помимо всего, замечательный врач. – Де Будри задумался и улыбнулся. – Раз, желая предостеречь меня от увлечения юности – вы понимаете? – он повел меня в госпиталь и показал там язвы человечества. – Он пошевелил губами и нахмурился. – О нем много неверного пишут, – сказал он быстро и не смотря на Вильгельма. И вдруг, окинув его взглядом, добавил совершенно неожиданно: – А вы тщеславны, мой друг. Вы честолюбивы. Это вам не предвещает ничего хорошего.

Вильгельм посмотрел на него удивленно.

Де Будри был прав. Вильгельм недаром перед сном вообразил какую-то воющую толпу.

## V

Скоро для тщеславия Вильгельма случай представился. Это было в декабре четырнадцатого года. Приближался переводной экзамен. Переводные экзамены в Лицее были всегда большим событием. Наезжали из города важные персоны, и начальство перед экзаменами испытывало лихорадку честолюбия, стараясь блеснуть как можно более.

На этот раз по Лицею разнеслась весть, что приедет Державин. Весть подтвердилась.

Галич, учитель словесности, добрейший пьяница, приняв самый торжественный вид, сказал однажды на уроке:

– Господа, предупреждаю: на переводных экзаменах будет у нас присутствовать знаменитый наш лирик, Гаврила Романович Державин.

Он крикнул и особенно выразительно посмотрел при этом в сторону Пушкина:

– А вам, Пушкин, советую особенно принять это в соображение и встретить Державина пиитическим подарком.

Пушкин болтал в это время с Яковлевым. Услышав слова Галича, он неожиданно побледнел и закусил губу.

Кюхля, напротив, покраснелся необычайно.

После классов Пушкин стал сумрачен и неразговорчив. Когда его спрашивали о чем-нибудь, отвечал неохотно и почти грубо. Кюхля взял его таинственно под руку.

– Пушкин, – сказал он, – как ты думаешь – я тоже хочу поднести Державину стихи.

Пушкин вспыхнул и выдернул руку. Глаза его вдруг налились кровью. Он не ответил Вильгельму, который, ничего не понимая, стоял разинув рот, – и ушел в свою комнату.

Назавтра все знали, что Пушкин пишет стихи для Державина.

Лицей волновался.

О Вильгельме забыли.

День экзаменов настал.

Пушкин с утра был молчалив и груб. Он двигался лениво и полусонно, не замечая ничего вокруг, даже наталкивался на предметы. Вяло пошел он в залу вместе со всеми.

В креслах сидели мундиры, черные фраки; жабо Василия Львовича Пушкина заметно выделялось своей белизной и пышностью – «шалбер» аккуратно ездил на экзамены и интересовался Сашей больше, чем брат Сергей Львович.

Дельвиг стоял на лестнице и ждал Державина. Надо было давно уже идти наверх, а он все стоял и ждал его. Певец «Смерти Мещерского» – увидеть его, поцеловать его руку!

Дверь распахнулась; в сени вошел небольшой сгорбленный старик, зябко кутаясь в меховую широкую шинель.

Он повел глазами по сторонам. Глаза были белесые, мутные, как бы ничего не видящие. Он озяб, лицо было синеватое с мороза. Черты лица были грубые, губы дрожали. Он был стар.

К Державину подскочил швейцар. Замирая, Дельви́г ждал, когда он начнет подыматься по лестнице. Эта встреча уже почему-то не радовала его, а скорее пугала.

Все же он поцелует руку, написавшую «Смерть Мещерского».

Державин сбросил на руки швейцара шинель. На нем был мундир и высокие теплые плисовые сапоги. Потом он повернулся к швейцару и, глядя на него теми же пустыми глазами, спросил дребезжащим голосом:

– А где, братец, здесь нужник?

Дельви́г оторопел. По лестнице уже звучали шаги – директор бежал встречать Державина. Дельви́г тихо поднялся по лестнице и пошел в залу.

Державина усадили за стол. Экзамен начался. Спрашивал Куницын по нравственным наукам. Державин не слушал. Голова его дрожала, он уставился мутным взглядом на кресла. Жабо Василия Львовича привлекло его внимание. Василий Львович завертелся в креслах и отвесил ему глубокий поклон. Державин не заметил.

Так сидел он, дремля и покачиваясь, подперши голову рукой, отрешенный от всего, рассеянно смотря на белое жабо. Губы его отвисли.

Кюхля с непонятым содроганием смотрел на Державина. Это страшное, с сизым носом, старческое лицо напомнило ему как-то пруд, заросший тиной, в котором он хотел утопиться.

Начался экзамен по словесности.

Галич сказал, запинаясь:

– Яковлев, произнесите оду на смерть князя Мещерского, творение Гавриила Романовича Державина.

Державин снял руку со стола. Губы его сомкнулись. Он вглядывался белесыми глазами в лицеиста.

Яковлев был хороший чтец. Уроки де Будри не пропали для него даром. Он читал, немного завывая, не оттеняя смысла, но налегая на звучные рифмы.

Глагол времен! металла звон!

Твой страшный глас меня смущает.

Державин закрыл глаза и слушал.

Сей день иль завтра умереть,

Перфильев! должно нам, конечно.

Державин поднял голову и слегка кивнул не то с одобрением, не то отвечая на что-то себе самому.

– Кюхельбекер.

Вильгельм подошел к столу ни жив ни мертв.

– Отвечайте о сущности поэзии одической.

Вильгельм начал отвечать по учебнику Кошанского, Державин рукой остановил его.

– Скажите, – сказал он разбитым голосом, – что для оды более нужно, восторг пиитический или ровность слога?

– Восторг, – сказал Вильгельм восторженно, – восторг питический, который извиняет и слабости и падение слога и душу стремится к высокому.

Державин с удовольствием взглянул на него.

– Простите, – сказал не своим голосом Вильгельм, – дозвоьте прочесть стихотворение, Гавриле Романовичу посвященное.

Галич смутился. Кюхельбекер ему ничего не сказал о своих стихах. Нет, это будет опасно. Вероятно, наворотил чего-нибудь.

– Первую строфу, если Гаврила Романович разрешит.

Державин сделал жест рукой. Жест был неожиданно изящный, широкий.

Вильгельм прочел дрожащим голосом:

Из туч сверкнул зубчатый пламень.  
По своду неба гром протек,  
Зревели бури – челн о камень;  
Яряся, океан изверг  
Кипящими волнами  
Пловца на дикий брег.  
Он озирается – и робкими очами  
Блуждает ночи в глубине;  
Зовет спутников, – но в страшной тишине  
Лишь львов и ветра вопль несется в отдаленьи.

Он окончил и растерянно взглянул перед собой.

– Громко. Есть движение, – сказал Державин. – Огня бы больше. Державина, видно, читали, – добавил он, бледно улыбаясь.

Галич тоже улыбнулся, видя, что все сошло благополучно. Кюхля вернулся на место, опустив голову.

– Пушкин.

Пушкин вышел вперед бледный и решительный.

Галич знал о «державинских» стихах Пушкина. Весь Лицей знал их наизусть.

Пушкин начал читать.

С первой же строки Державин пришел в волнение. Он впился глазами в мальчика. В белых глазах под насупленными бровями забегали темные огоньки. Крупные ноздри его раздулись. Губы приметно двигались, повторяя за Пушкиным рифмы.

В зале была тишина.

Пушкин сам слышал звонкий, напряженный свой голос и сам ему повиновался. Он не понимал слов, которые читал он, – звуки его голоса тянули его за собою.

Державин и Петров героям песнь бряцали  
Струнами громозвучных лир.

Голос звенит – вот-вот сорвется.

Державин откинулся в кресла, закрыл глаза и так слушал до конца.

Была тишина.

Пушкин повернулся и убежал.

Державин вскочил и выбежал из-за стола. В глазах его были слезы. Он искал Пушкина.

Пушкин бежал по лестницам вверх. Он добежал до своей комнаты и бросился на подушки, плача и смеясь. Через несколько минут к нему вбежал Вильгельм. Он был бледен как полотно. Он бросился к Пушкину, обнял его, прижал к груди и пробормотал:

– Александр! Александр! Горжусь тобой. Будь счастлив. Тебе Державин лиру передает.

## VI

А над Илличевским Кюхля одержал победу.

Алеша Илличевский – по-лицейски Олосинька – был умный мальчик; он хорошо учился, дружил со всеми и ни с кем, был себе на уме.

В Лицее он считался великим поэтом.

И правда – «стихом он владел хорошо», – так по крайней мере говорил о нем учитель риторики Кошанский. Стихи у него были гладкие, без сучка без задоринки, почерк мелкий, косой, с нарядными росчерками. Писал он басни: этот род ему нравился как самый благоразумный; басни Илличевского были нравоучительны. Он и псевдоним себе придумал не без ехидности: «– ийший». Над Кюхлей он смеялся, Дельвигу покровительствовал, а Пушкина готов был считать равным, но втайне остро ему завидовал. Он был осторожен, расчетлив и в товарищеские заговоры никогда не вступал. Олосинька был первый ученик. После того как Кюхля тонул в пруду, Олосинька нарисовал в «Лицейском мудреце» очень хорошую картинку-карикатуру; на картинке было изображено, как Кюхлю с закинутым назад бледным лицом (нос на рисунке был у Кюхли огромный) тащат багром из воды. Кюхля карикатуру видел, но – странное дело – не рассердился: он слишком его не любил, чтоб на него сердиться.

Илличевский знал это и, в свою очередь, не переносил

Кюхлю. Он сочинил на него довольно злую эпиграмму и назвал ее, не без изящества, «Опровержением»:

Нет, полно, мудрецы, обманывать вам свет  
И утверждать свое, что совершенства нет.  
На свете, в твари тленной,  
Явися, Вилинька, и докажи собой,  
Что ты и телом и душой  
Урод пресовершенный.

Но пресовершенный урод с его уродливыми стихами больше привлекал Пушкина и Дельвига, чем совершенный Олосинька. И однажды урод одержал над ним победу. Он напал на Илличевского с пеной у рта.

– Я могу нанять учителя чистописания, – кричал он, наступая на Илличевского, – и он меня в три урока выучит писать, как ты!

– Сомневаюсь, – криво улыбнулся Олосинька.

– Ты никогда не ошибаешься, ты безупречен, ты без ошибок пишешь – дело, ей-богу, не важное. После Батюшкова разве трудно писать чисто?

– Ты вот доказываешь, что трудно, – язвил Олосинька и посматривал вокруг искательно, приглашая посмеяться.

Никто, однако, не смеялся.

– Лучше в тысячу раз писать с ошибками, чем разводить, как ты, холодную водицу! – кричал Кюхля. – Я не стыжусь своих ошибок. К черту правильность мертвеца! Пушкин, –

обернулся он с неожиданным вызовом к Пушкину, – если ты пойдешь, как Илличевский, я от тебя отрекаюсь!

Все повернулись к Пушкину.

Пушкин стоял и покусывал губы.

Он был нахмурен и серьезен.

– Успокойся, Вилинька, – сказал он, – что ты развоевался?

Каждый идет своим путем.

Он схватил Кюхлю за рукав и потащил его за собою.

– Он, кажется, обиделся? – спросил Кюхля Пушкина и тяжело вздохнул. – Пускай обижается.

## VII

А между тем дух лицейский менялся. Старше ли они становились, или кругом что-то менялось, – но появилась в Лицее «вольность».

По вечерам шли разговоры о том, кто теперь правит Россией – царь, Аракчеев или любовница Аракчеева, крепостная его наложница, Настасья Минкина. И эпиграммы лицеисты писали уже не только на Кюхлю и на повара.

От войны 12-го года у лицеистов сохранилось воспоминание о том, как проходили через Царское Село бородатые солдаты, угрюмо глядя на них и устало отвечая на их приветствия. Теперь время было другое. Царь то молился и гадал у Криднерши, имя которой шепотом передавали друг другу дамы, то муштровал солдат с Аракчеевым, о котором со страхом говорили мужчины. Имя темного монаха Фотия катилось по гостиным. Ходили неясные толки о том, кто кого свалит – Фотий ли министра Голицына, Голицын ли Фотия, или Аракчеев съест их обоих. Что было бы лучше, что хуже, не знал никто. Начиналась глухая борьба и возня за места, деньги и влияния; все передавали фразу Аракчеева, сказанную среди белого дня при публике генералу Ермолову, которого он боялся и ненавидел:

– С вами, Алексей Петрович, мы *не перегрыземся*.

И это шло волнами, кругами по всей стране – и эти волны

доходили и до Лицея.

Лицей был балованным заведением – так устроилось, что в нем не секли и не было муштры.

– Les Lycencies sont licencieux,<sup>5</sup> – говорил великий князь Мишель чужую остроту о них.

Но и Лицей скоро почувствовал на себе то, что чувствовали все.

Однажды царь вызвал Энгельгардта и спросил у него – благосклонно, впрочем:

– Есть ли у вас желающие идти в военную службу?

Энгельгардт подумал. Желающих было так мало, что, собственно говоря, их и совсем не было. Но ответить царю, который с утра до ночи занимался теперь муштрой в полках и таинственными соображениями об изменениях военной формы, – ответить ему просто было не так-то легко.

Энгельгардт наморщил лоб и сказал:

– Да чуть ли не более десяти человек, ваше величество, этого желают.

Царь важно кивнул головой:

– Очень хорошо. Надо в таком случае их познакомить с фрунтом.

Энгельгардт обомлел. «Фрунт, казарма, Аракчеев – Лицей пропал, – пронеслось у него в голове. – Конец нашему милому, нашему доброму Лицею». Он молча поклонился и

---

<sup>5</sup> Игра слов: лиценциаты – беспутники (фр.).

вышел.

На совете Лицея, о котором знали все лицеисты, на цыпочках ходившие в эти дни, шло долго обсуждение.

Де Будри шурился.

– Значит, переход на военное положение?

Куницын, бледный и решительный, сказал:

– В случае муштры и фрунта – слуга покорный, подаю в отставку.

Энгельгардт наконец решил отшутиться. Это иногда удавалось. Шутка пользовалась уважением при дворе еще при Павле, который за остроумное слово награждал чинами. Великий князь Мишель из кожи лез вон, чтобы прослыть острословом.

Энгельгардт пошел к царю и сказал ему:

– Ваше величество, разрешите мне оставить Лицей, если в нем будет ружье.

Царь нахмурился.

– Это отчего? – спросил он.

– Потому что, ваше величество, я никогда никакого оружия, кроме того, которое у меня в кармане, не носил и не ношу.

– Какое это оружие? – спросил царь.

Энгельгардт вынул из кармана садовый нож и показал царю.

Шутка была плохая и не подействовала. Царь уже свыкся с мыслью, что из своего окна он будет видеть лицейскую

муштру. Это было для него легким отдыхом, летним развлечением. Его тянуло к этой игрушечной муштре, как когда-то его деда Петра III тянуло к игрушечным солдатикам. Они долго торговались, и с кислой улыбкой царь наконец согласился, чтобы для желающих был класс военных наук. На том и поладили.

В другой раз, летом, царь вызвал Энгельгардта и холодно сказал ему, чтобы лицеисты дежурили при царице, – Елизавета Алексеевна жила тогда в Царском Селе.

Энгельгардт помолчал.

– Это дежурство, – сказал, не глядя на него, Александр, – приучит молодых людей быть развязнее в обращении.

Чувствуя, что сказал какую-то неловкость, он добавил торопливо и сердито:

– И послужит им на пользу.

В Лицее сообщение о дежурстве вызвало переполох. Все лицеисты разбились на два лагеря. Саша Горчаков – князь, близорукий, румяный мальчик с прыгающей походкой и той особенной небрежностью манер и рассеянностью, которые он считал необходимыми для всякого аристократа, – был за дежурства.

Надо было начинать карьеру, и как было не воспользоваться близостью дворца.

– Это удачная мысль, – сказал он снисходительно, одобряя не то царя, не то Энгельгардта.

Корф, милостивый немчик, который тянулся за Горчако-

вым, и Лисичка-Комовский решительно заявили, что новая должность им нравится.

– Я лакейской должности не исполнял и не буду, – спокойно сказал Пущин, но щеки его разгорелись.

– Дело идет не о лакеях, но о камер-пажах, – возразил Корф.

– Но камер-паж и есть ведь царский лакей, – ответил Пущин.

– Только подлец может пойти в лакеи к царю, – выпалил Кюхля и побагровел.

Корф крикнул ему:

– Кто не хочет, может не идти, а ругаться подлецом низко.

– Иди, иди, Корф, – улыбнулся Есаков, – там тебе по две порции давать будут. (Корф был обжора.)

– Если от нас хотят развязности в обращении, – заявил Пушкин, – лучше пусть нас научат ездить верхом. Верховая езда лучше, чем камер-пажество.

Горчаков считал совершенно излишним вмешиваться в спор. Пускай Корф спорит. Для Горчакова это было прежде всего смешно, *ridicule*. Он вскидывал близорукими глазами на спорящих и спокойно улыбался.

Обе партии пошли к Энгельгардту.

Энгельгардт, видя, что в Лицее есть какие-то партии, опять пошел к царю. Царь был на этот раз рассеян и почти его не слушал.

– Ваше величество, – сказал Энгельгардт, – придворная

служба, по нашему верноподданнейшему мнению, будет отвлекать лицеистов от учебных занятий.

Царь, не слушая, взглянул на Энгельгардта и кивнул ему головой. Энгельгардт, подождав, поклонился и вышел.

Лицеистов забыли и оставили в покое.

Зато Яковлев, паяс, представлял уже не только дьячка с трелями. Он однажды показал «загадочную картинку».

Начесав вихры на виски, расставив ноги, растопырив как-то мундир в плечах, он взглянул туманными глазами на лицеистов – и те обмерли: чучело императора!

В другой раз он показал с помощью ночного сосуда малоприличную картинку: как Модинька Корф прислуживает государыне.

Был в Лицее дядька Зернов, Александр Павлович, собственно не дядька, а «помощник гувернера» по лицейской табели о рангах, – редкий урод, хромой, краснокожий, с рыжей щетиной на подбородке и вдобавок со сломанным носом. И вот по всему Лицею ходила эпиграмма:

### ДВУМ АЛЕКСАНДРАМ ПАВЛОВИЧАМ

Романов и Зернов лихой,  
Вы сходны меж собою:  
Зернов! хромаешь ты ногой,  
Романов головою.  
Но что, найду ль довольно сил  
Сравненье кончить шпичем?  
Тот в кухне нос переломил,  
А тот под Аустерлицем.

Вскоре в Лицее произошли два политических случая: с Вильгельмом и с медвежонком.

## VIII

Медвежонок был довольно рослый, с умными глазами, с черной мордой, и жил он в будке на лицейском дворе. Принадлежал он генералу Захаржевскому, управляющему царскосельским дворцом и дворцовым садом. Каждое утро лицеисты видели, как, собираясь идти в обход, генерал трепал по голове медвежонка, а тот порывался сорваться с цепи и пойти вслед за ним. Пушкин особенно любил медвежонка, часто с ним здоровался. Медвежонок подавал ему толстую лапу, смотрел в лицо Пушкину, прося сахара.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.